



Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и миллионы других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову; очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно.

О том, что началась война, Синцов и Маша узнали в Симферополе, на жарком привокзальном пяточке. Они только что сошли с поезда и стояли возле старого открытого «линкольна», ожидая попутчиков, чтобы в складчину доехать до военного санатория в Гурзуфе.

Оборвав их разговор с шофером о том, есть ли на рынке фрукты и помидоры, радио хрипло на всю площадь сказало, что началась война, и жизнь сразу разделилась на две несоединимые части: на ту, что была минуту назад, до войны, и на ту, что была теперь.

Синцов и Маша донесли чемоданы до ближайшей скамейки. Маша села, уронила голову на руки и, не шевелясь, сидела как бесчувственная, а Синцов, даже не спрашивая ее ни о чем, пошел к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд. Теперь им предстояло сделать весь обратный путь из Симферополя в Гродно, где Синцов уже полтора года служил секретарем редакции армейской газеты.

К тому, что война была несчастьем вообще, в их семье прибавлялось еще свое, особенное несчастье: политрук Синцов с женой были за тысячу верст от войны, здесь, в Симферополе, а их годовалая дочь осталась там, в Гродно, рядом с войной.

Она была там, они тут, и никакая сила не могла перенести их к ней раньше чем через четверо суток.

Стоя в очереди к военному коменданту, Синцов пробовал представить себе, что сейчас творится в Гродно. «Слишком близко, слишком близко к границе, и авиация, самое главное — авиация... Правда, из таких мест детей сразу же могут эвакуировать...» Он зацепился за эту мысль, ему казалось, что она может успокоить Машу.

Он вернулся к Маше, чтобы сказать, что все в порядке: в двенадцать ночи они выедут обратно. Она подняла голову и посмотрела на него как на чужого.

— Что в порядке?

— Я говорю, что с билетами все в порядке, — повторил Синцов.

— Хорошо, — равнодушно сказала Маша и опять опустила голову на руки.

Она не могла простить себе, что уехала от дочери. Она сделала это после долгих уговоров матери, специально приехавшей к ним в Гродно, чтобы дать возможность Маше и Синцову вместе съездить в санаторий. Синцов тоже уговаривал Машу ехать и даже обиделся, когда она в день отъезда подняла на него глаза и спросила: «А может, все-таки не поедем?» Не послушайся она их обоих тогда, сейчас она была бы в Гродно. Мысль быть там сейчас не пугала ее, пугало, что ее там нет. В ней жило такое чувство вины перед оставленным в Гродно ребенком, что она почти не думала о муже.

Со свойственной ей прямоотой она сама вдруг сказала ему об этом.

— А что обо мне думать? — сказал Синцов. — И вообще все будет в порядке.

Маша терпеть не могла, когда он говорил так: вдруг ни к селу ни к городу начинал бессмысленно успокаивать ее в том, в чем успокоить было нельзя.

— Брось болтать! — сказала она. — Ну что будет в порядке? Что ты знаешь? — У нее даже губы задрожали от злости. — Я не имела права уехать! Понимаешь: не имела права! — повторила она, крепко сжатым кулаком больно ударяя себя по коленке.

Когда они сели в поезд, она замолчала и больше не упрекала себя, а на все вопросы Синцова отвечала только «да» и «нет». Вообще всю дорогу, пока они ехали до Москвы, Маша жила как-то механически: пила чай, молча глядела в окно, потом ложилась на свою верхнюю полку и часами лежала, отвернувшись к стене.

Вокруг говорили только об одном — о войне, а Маша словно и не слышала этого. В ней совершалась большая и тяжелая внутренняя работа, к которой она не могла допустить никого, даже Синцова.

Уже под Москвой, в Серпухове, едва поезд остановился, она впервые за все время сказала Синцову:

— Выйдем, погуляем...

Вышли из вагона, и она взяла его под руку.

— Знаешь, я теперь поняла, почему с самого начала почти не думала о тебе: мы найдем Таню, отправим ее с мамой, а я останусь с тобой в армии.

— Уже решила?

— Да.

— А если придется перерешить?

Она молча покачала головой.

Тогда, стараясь быть как можно спокойней, он сказал ей, что два вопроса — как найти Таню и идти или не идти в армию — надо разделить...

— Не буду я их делить! — прервала его Маша.

Но он настойчиво продолжал объяснять ей, что будет куда разумнее, если он поедет к месту службы, в Гродно, а она, наоборот, останется в Москве. Если семьи эвакуировали из Гродно (а это, наверное, сделали), то Машина мать вместе

с Таней, уж конечно, постарается добраться до Москвы, до своей собственной квартиры. И Маше, хотя бы для того, чтобы не разъехаться с ними, самое разумное — ждать их в Москве.

— Может быть, они уже сейчас там, приехали из Гродно, пока мы едем из Симферополя!

Маша недоверчиво посмотрела на Синцова и опять замолчала до самой Москвы.

Они приехали в старую артемьевскую квартиру на Усачевке, где так недавно и так беззаботно прожили двое суток по дороге в Симферополь.

Из Гродно никто не приезжал. Синцов надеялся на телеграмму, но и телеграммы не было.

— Сейчас я поеду на вокзал, — сказал Синцов. — Может быть, достану место, сяду на вечерний. А ты попробуй позвонить, вдруг удастся.

Он вынул из кармана гимнастерки записную книжку и, вырвав листок, записал Маше гродненские редакционные телефоны.

— Подожди, сядь на минуту, — остановила она мужа. — Я знаю, ты против того, чтобы я ехала. Но как все-таки это сделать?

Синцов стал говорить, что делать этого не надо. К прежним доводам он прибавил новый: если даже ей дадут сейчас доехать до Гродно, а там возьмут в армию — в чем он сомневается, — неужели она не понимает, что ему от этого будет вдвое тяжелей?

Маша слушала, все больше и больше бледнея.

— А как же ты не понимаешь, — вдруг закричала она, — как же ты не понимаешь, что я тоже человек?! Что я хочу быть там, где ты?! Почему ты думаешь только о себе?

— Как «только о себе»? — ошеломленно спросил Синцов.

Но она, ничего не ответив, горько разрыдалась; а когда выплакалась, сказала деловым голосом, чтобы он ехал на вокзал доставать билеты, а то опоздает.

— И мне тоже. Обещаешь?

Разозленный ее упрямством, он наконец перестал щадить ее, отрубил, что никаких штатских, тем более женщин, в поезд, идущий до Гродно, сейчас не посадят, что уже вчера в сводке было Гродненское направление и пора наконец трезво смотреть на вещи.

— Хорошо, — сказала Маша, — если не посадят, значит, не посадят, но ты постарайся! Я тебе верю. Да?

— Да, — угрюмо согласился он.

И это «да» много значило. Он никогда не лгал ей. Если ее можно будет посадить в поезд, он возьмет ее.

Через час он с облегчением позвонил ей с вокзала, что получил место на поезд, отходящий в одиннадцать вечера в Минск, — прямо до Гродно поезда нет, — и комендант сказал, что сажать в этом направлении не приказано никого, кроме военнослужащих.

Маша ничего не ответила.

— Что ты молчишь? — крикнул он в трубку.

— Ничего. Я пробовала звонить в Гродно, сказали, что связи пока нет.

— Ты пока переложи все мои вещи в один чемодан.

— Хорошо, переложу.

— Я сейчас попробую пробиться в Политуправление. Может быть, редакция куда-нибудь переместилась, попробую узнать. Часа через два буду. Не скучай.

— А я не скучаю, — все тем же бескровным голосом сказала Маша и первая повесила трубку.

Маша переключивалась на вещи Синцова и неотступно думала все об одном и том же: как же все-таки она могла уехать из Гродно и оставить там дочь? Она не солгала Синцову, она и в самом деле не могла отделить своих мыслей о дочке от мыслей о самой себе: дочь надо найти и отправить сюда, а самой остаться вместе с ним там, на войне.

Как выехать? Что сделать для этого? Вдруг в последнюю минуту, уже закрывая чемодан Синцова, она вспомнила, что у нее где-то на клочке бумаги записан служебный телефон одного из товарищей брата, с которым тот вместе служил на Халхин-Голе, полковника Польшина. Этот Польшин, как раз когда они остановились здесь по дороге в Симферополь, вдруг позвонил и сказал, что прилетел из Читы, видел там Павла и обещал ему сделать личный доклад матери.

Маша тогда сказала Польшину, что Татьяна Степановна в Гродно, и записала его служебный телефон, чтобы мать позвонила ему, в Главную авиационную инспекцию, когда вернется. Только вот где он, этот телефон? Она долго лихорадочно искала, наконец нашла и позвонила.

— Полковник Польшин слушает! — сказал сердитый голос.

— Здравствуйте! Я сестра Артемьева. Мне нужно вас увидеть.

Но Польшин даже не понял сразу, кто она и чего от него хочет. Потом наконец понял и после долгой неприветливой паузы сказал, что если ненадолго, то хорошо, пусть через час приедет. Он выйдет к подъезду.

Маша сама не знала толком, чем может помочь ей этот Польшин, но ровно через час была у подъезда большого военного дома. Ей казалось, что она помнит внешность Польшина, но среди сновавших вокруг нее людей его не было видно. Вдруг дверь открылась, и к ней подошел молоденький сержант.

— Вам товарища полковника Польшина? — спросил он у Маши и виновато объяснил, что товарища полковника вызвали в наркомат, он уехал десять минут назад и просил подождать. Лучше всего там, в скверике, за трамвайной линией. Когда полковник прибудет, то за ней придут.

— А когда он приедет? — Маша вспомнила, что Синцов уже скоро должен вернуться домой.

Сержант только пожал плечами.

Маша прождала два часа, и как раз в ту минуту, когда она, решив больше не ждать, перебежала линию, чтобы вскочить в трамвай, из подъехавшей «эмочки» вылез Польшин. Маша узнала его, хотя его красивое лицо сильно переменилось и казалось постаревшим и озабоченным.

Чувствовалось, что он считает каждую секунду.

— Не обижайтесь, постоим, поговорим прямо тут, а то у меня там уже народ собран... Что у вас стряслось?

Маша как могла коротко объяснила, что у нее стряслось и чего хочет. Они стояли рядом, на трамвайной остановке, прохожие толкались, задевали их плечами.

— Что ж, — сказал Польшин, выслушав ее. — Думаю, муж ваш прав: семьи из тех мест по возможности эвакуируют. В том числе и семьи наших авиаторов. Если что-нибудь узнаю через них, позвоню. А ехать туда сейчас вам не ко времени.

— И все-таки очень прошу вас помочь! — упрямо сказала Маша.

Польшин сердито сложил руки на груди.

— Слушайте, чего вы просите, куда вы лезете, извините за выражение! Под Гродно сейчас такая каша, можете вы это понять?

— Нет.

— А не можете, так слушайте тех, кто понимает!

Он спохватился, что, желая отговорить ее от глупостей, бухнул лишнее насчет той каши, которая сейчас под Гродно: ведь у нее там дочь и мать.

— В общем, там положение, конечно, прояснится, — неуклюже поправился он. — И эвакуация семей, конечно, будет налажена. И я вам буду звонить, если узнаю хотя бы малейшее что! Хорошо?

Он очень спешил и был окончательно не в состоянии скрывать это.

...Придя домой и не застав Маши, Синцов не знал, что и думать. Хоть бы оставила записку! Машин голос по телефону



показался ему странным, но не могла же она поссориться с ним сегодня, когда он уезжает!

В Политуправлении ему не сказали ровно ничего сверх того, что он знал и сам: в районе Гродно бои, а передислоцировалась или нет редакция его армейской газеты, ему сообщат завтра в Минске.

До сих пор и собственная, не выходявшая из головы тревога за дочь, и состояние полной потерянности, в котором находилась Маша, заставляли Синцова забывать о себе. Но сейчас он со страхом подумал именно о себе, о том, что это война и что именно он, а не кто-нибудь другой, едет сегодня туда, где могут убить.

Едва он подумал об этом, как раздался прерывистый междугородный звонок. Пробежав через комнату, он рванул с рычага трубку, но звонил не Гродно, а Чита.

— Кто это? Мама? — донесся сквозь многоголосое жужжание неимоверно далекий голос Артемьева.

— Нет, это я, Синцов.

— А я думал, ты уже воюешь.

— Еду сегодня.

— А где твои? Где мать?

Синцов сказал все, как было.

— Да-а, невеселые у вас дела! — еле слышным, охрипшим голосом сказал Артемьев на том конце шеститысячеверстного провода. — По крайней мере, хоть Марусю не пускай туда. И черт меня занес в Забайкалье! Как без рук!

— Разъединяю, разъединяю! Ваше время кончилось! — как дятел, задолбила телефонистка, и в трубке разом оборвалось все: и голоса и жужжание, — осталась одна тишина.

Маша вошла молча, опустив голову. Синцов не стал спрашивать ее, где она была, ждал, что скажет сама, и только поглядывал на стенные часы: до ухода из дома оставался всего час.

Она перехватила его взгляд и, почувствовав укоризну, взглянула ему прямо в лицо.

— Не обижайся! Я ходила советоваться, нельзя ли все-таки уехать с тобой.

— Ну и что тебе посоветовали?

— Ответили, что пока нельзя.

— Ах, Маша, Маша! — только и сказал ей Синцов.

Она ничего не ответила, стараясь взять себя в руки и унять дрожь в голосе. В конце концов ей это удалось, и в последний час перед разлукой она казалась почти спокойной.

Но на самом вокзале лицо мужа в больничном свете синих маскировочных лампочек показалось ей нездоровым и печальным; она вспомнила слова Польшина: «Под Гродно сейчас такая каша!..» — вздрогнула от этого и порывисто прижалась к шинели Синцова.

— Что ты? Ты плачешь? — спросил Синцов.

Но она не плакала. Просто ей стало не по себе, и она прижалась к мужу так, как прижимаются, когда плачут.

Оттого, что никто еще не свыкся ни с войной, ни с затемнением, на ночном вокзале царили толчея и беспорядок.

Синцов долго не мог ни у кого узнать, когда же пойдет тот поезд, на Минск, с которым ему предстояло отправляться. Сначала ему сказали, что поезд уже ушел, потом — что пойдет только под утро, а сразу же вслед за этим кто-то закричал, что поезд на Минск отправляется через пять минут.

Провожающих почему-то не пускали на перрон, в дверях сразу же образовалась давка, и Маша и Синцов, стиснутые со всех сторон, в суматохе даже не успели напоследок обняться. Прихватив Машу одной рукой — в другой у него был чемодан, — Синцов в последнюю секунду больно прижал ее лицо к пряжкам скрещивавшихся у него на груди ремней и, поспешно оторвавшись от нее, исчез в вокзальных дверях.

Тогда Маша обежала вокзал кругом и вышла к высокой, в два человеческих роста решетке, отделявшей вокзальный двор от перрона. Она уже не надеялась увидеть Синцова, ей хотелось только поглядеть, как будет отходить от платформы

его поезд. Она полчаса простояла у решетки, а поезд все еще не трогался. Вдруг она различила в темноте Синцова: он вылез из одного вагона и шел к другому.

— Ваня! — закричала Маша, но он не услышал и не повернулся. — Ваня! — еще громче крикнула она, схватясь за решетку.

Он услышал, удивленно повернулся, несколько секунд бестолково смотрел в разные стороны и, только когда она крикнула в третий раз, подбежал к решетке.

— Ты не уехал? Когда же пойдет поезд? Может быть, не скоро?

— Не знаю, — сказал он. — Все время говорят, что с минуты на минуту.

Он поставил чемодан, протянул руки, и Маша тоже протянула ему руки через решетку. Он поцеловал их, а потом взял в свои и все время, пока они стояли, так и держал, не выпуская.

Прошло еще полчаса, а поезд все не отходил.

— Может быть, ты все-таки найдешь себе место, положишь вещи, а потом выйдешь? — спохватилась Маша.

— А-а!.. — Синцов небрежно тряхнул головой, по-прежнему не выпуская ее рук. — Сяду на подножку!

Они были заняты надвигающейся на них разлукой и, не думая об окружающих, пытались смягчить эту разлуку привычными словами того мирного времени, которое уже три дня как перестало существовать.

— Я уверен, что с нашими все в порядке.

— Дай бог!

— Может быть, даже встречу с ними на какой-нибудь станции: я — туда, а они — сюда!

— Ах, если бы так!..

— Я, как приеду, сразу же напишу тебе.

— Тебе будет не до меня, просто дай телеграмму — и все.

— Нет, я непременно напишу. Ты жди письма...

— Еще бы!

— Но и ты мне пиши, хорошо?

— Конечно!

Они оба еще до конца не понимали того, что в действительности уже сейчас, на четвертые сутки, представляла собой эта война, на которую ехал Синцов. Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть, и никогда не будет в их жизни: ни писем, ни телеграмм, ни свиданий...

— Трогаемся! Кто едет, садитесь! — закричал кто-то за спиной Синцова.

Синцов, в последний раз стиснув Машины руки, схватил чемодан, накрутил на кулак ремень полевой сумки и на ходу, потому что поезд уже медленно пополз мимо, вскочил на подножку.

И сразу же вслед за ним на подножку вскочил кто-то еще и еще, и Синцова заслонили от Маши. Ей то казалось издали, что это он машет ей фуражкой, то казалось, что это чужая рука, а потом ничего уже не стало видно; замелькали другие вагоны, другие люди кричали что-то кому-то, а она стояла одна, прижавшись лицом к решетке, и торопливо застегивала плащ на вдруг озябшей груди.

Поезд, почему-то составленный из одних дачных вагонов, с томительными стоянками шел через Подмоскovie и Смоленщину. И в том вагоне, где ехал Синцов, и в других вагонах большую часть пассажиров составляли командиры и политработники Особого Западного военного округа, срочно возвращавшиеся из отпусков в части. Лишь сейчас, оказавшись все вместе в этих ехавших к Минску дачных вагонах, с удивлением увидели друг друга.

Каждый из них, порознь уходя в отпуск, не представлял себе, как это выглядит все, вместе взятое, какая лавина людей, обязанных сейчас командовать в бою ротами, батальо-

нами и полками, оказалась с первого дня войны оторванной от своих, наверно уже дравшихся, частей.

Как это могло получиться, когда предчувствие надвигающейся войны висело в воздухе еще с апреля, не мог понять ни Синцов, ни другие отпусники. В вагоне то и дело вспыхивали разговоры об этом, затихали и снова вспыхивали. Ни в чем не повинные люди чувствовали себя виноватыми и нервничали на каждой длинной стоянке.

Расписание отсутствовало, хотя за весь первый день в пути не было ни одной воздушной тревоги. Только ночью, когда поезд стоял в Орше, кругом заревели паровозы и дрогнули стекла: немцы бомбили Оршу-товарную.

Но даже и тут, впервые слыша звуки бомбежки, Синцов еще не понимал, как близко, вплотную подъезжает их дачный поезд к войне. «Ну что ж, — думал он, — в том, что немцы по ночам бомбят идущие к фронту составы, нет ничего удивительного». Вдвоем с капитаном-артиллеристом, сидевшим напротив него и ехавшим в свою часть, на границу, в Домачево, они решили, что немцы, наверное, летают из Варшавы или Кенигсберга. Если б им сказали, что немцы уже вторую ночь летают на Оршу с нашего военного аэродрома в Гродно, из того самого Гродно, куда Синцов ехал в редакцию своей армейской газеты, они просто не поверили бы этому!

Но прошла ночь, и им пришлось поверить в гораздо худшие вещи. Утром поезд дотащился до Борисова, и комендант станции, кривясь, как от зубной боли, заявил, что эшелон дальше не пойдет: путь между Борисовом и Минском разбомблен и перерезан немецкими танками.

В Борисове было пыльно и душно, над городом кружились немецкие самолеты, по дороге шли войска и машины: одни — в одну, другие — в другую сторону; у госпиталя прямо на булыжной мостовой лежали на носилках убитые.

Перед комендатурой стоял старший лейтенант и кричал кому-то оглушительным голосом: «Закопать пушки!» Это был

комендант города, и Синцов, не бравший с собой в отпуск оружия, попросил выдать ему наган. Но у коменданта не было нагана: час назад он роздал дотла весь арсенал.

Задержав первый попавшийся грузовик, шофер которого упрямо метался по городу в поисках своего куда-то запропастившегося завскладом, Синцов и капитан-артиллерист поехали искать начальника гарнизона. Капитан отчаялся попасть в свой полк на границу и хотел получить назначение в какую-нибудь артиллерийскую часть здесь, на месте. Синцов надеялся узнать, где Политуправление фронта, — если добраться до Гродно уже нельзя, пусть его пошлют в любую армейскую или дивизионную газету. Оба были готовы идти куда угодно и делать что угодно, только бы перестать болтаться между небом и землей в этом трижды проклятом отпуску. Им сказали, что начальник гарнизона где-то за Борисовом, в военном городке.

На окраине Борисова над их головами, строча из пулеметов, пронесся немецкий истребитель. Их не убило и не ранило, но от борта грузовика полетели щепки. Синцов, опомнившись от страха, бросившего его лицом на пропахшее бензином дно грузовика, с удивлением вытащил вершковую занозу, через гимнастерку воткнувшуюся ему в предплечье.

Потом оказалось, что в трехтонке кончается бензин, и они, прежде чем искать начальника гарнизона, поехали по шоссе в сторону Минска, на нефтебазу.

Там они застали странную картину: лейтенант — начальник нефтебазы — и старшина держали под двумя пистолетами майора в саперной форме. Лейтенант кричал, что он скорее застрелит майора, чем позволит ему подорвать горячее. Немолодой майор, с орденом на груди, держа руки вверх и дрожа от досады, объяснял, что приехал сюда не подрывать нефтебазу, а лишь выяснить возможности ее подрыва. Когда наконец пистолеты были опущены, майор со слезами ярости на глазах стал кричать, что это позор — держать под писто-

летом старшего командира. Чем кончилась эта сцена, Синцов так и не узнал. Лейтенант, угрюмо слушавший выговор майора, буркнул, что начальник гарнизона находится в казармах танкового училища, недалеко отсюда, в лесу, и Синцов поехал туда.

В танковом училище все двери были распахнуты настежь — и хоть шаром покати! Только на плацу стояли две танкетки с экипажами. Они были оставлены здесь впредь до дальнейших распоряжений. Но этих распоряжений уже сутки не поступало. Толком никто ничего не знал. Одни говорили, что училище эвакуировано, другие — что оно ушло в бой. Начальник Борисовского гарнизона, по слухам, находился где-то на Минском шоссе, но не по эту сторону Борисова, а по ту.

Синцов и капитан вернулись в Борисов. Комендатура грузилась. Комендант охрипшим голосом прошептал, что есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, отойти за Березину и там, не пуская немцев дальше, защищаться до последней капли крови.

Артиллерийский капитан недоверчиво сказал, что комендант порет какую-то отсебятину. Однако комендатура грузилась, и едва ли это делалось без чьего-то приказа. Они снова выехали на своем грузовике за город. Поднимая тучи пыли, по шоссе шли люди и машины. Но теперь все это двигалось уже не в разные стороны, а в одну — на восток от Борисова.

У въезда на мост в толчее стоял громадного роста человек, без фуражки, с наганом в руке. Он был вне себя и, задерживая людей и машины, надорванным голосом кричал, что он, политрук Зотов, должен остановить здесь армию и он остановит ее и расстреляет каждого, кто попробует отступить!

Но люди двигались и двигались мимо политрука, проезжали и проходили, и он пропускал одних, для того чтобы остановить следующих, засовывал за пояс наган, брал кого-то за грудь, потом отпускал, опять хватался за наган, поворачивался и снова яростно, но бесполезно хватал кого-то за гимнастерку...

Синцов и капитан остановили машину в редком прибрежном лесу. Лес кишел людьми. Синцову сказали, что где-то рядом есть какие-то командиры, которые формируют части. И в самом деле, на опушке леса распоряжались несколько полковников. На трех грузовиках с откинутыми бортами составляли списки людей, из них формировались роты и под командой тут же, на месте, назначенных командиров отправляли налево и направо вдоль Березины. На других грузовиках лежали груды винтовок, их раздавали всем, кто записывался, но не был вооружен. Синцов тоже записался; ему досталась винтовка с примкнутым штыком и без ремня, ее все время приходилось держать в руке.

Один из распоряжавшихся полковников, лысый танкист с орденом Ленина, ехавший из Москвы в одном вагоне с Синцовым, посмотрел его отпускной билет, удостоверение личности и ядовито махнул рукой: какая, мол, сейчас к черту газета, — но тут же приказал, чтобы Синцов далеко не отходил: для него, как для интеллигентного человека, найдется дело. Полковник именно так странно и выразился — «как для интеллигентного человека». Синцов, потоптавшись, отошел и сел в ста шагах от полковника, возле своей трехтонки. Что означала эта фраза, он узнал лишь на следующий день.

Через час к машине подбежал артиллерийский капитан, выхватил из кабины вещевой мешок и, счастливо крикнув Синцову, что на первый случай получил под команду два орудия, убежал. Синцов его больше никогда не видел.

Лес был по-прежнему набит людьми, и, сколько бы их ни отправлялось под командой в разные стороны, казалось, все они никогда не рассосутся.

Прошел еще час, и над реденьким сосновым лесом появились первые немецкие истребители. Синцов каждые полчаса бросался на землю, прижимаясь головой к стволу тонкой сосны; высоко в небе колыхалась ее редкая крона. При каждом



налете лес начинал стрелять в воздух. Стреляли стоя, с колена, лежа, из винтовок, из пулеметов, из наганов.

А самолеты шли и шли, и все это были немецкие самолеты.

«А где же наши?» — горько спрашивал себя Синцов, так же как это и вслух и молча спрашивали все люди вокруг него.

Уже под вечер над лесом прошла тройка наших истребителей с красными звездами на крыльях. Сотни людей вскочили, закричали, радостно замахали руками. А еще через минуту три «ястребка» вернулись, строча из пулеметов.

Стоявший рядом с Синцовым пожилой интендант, снявший фуражку и прикрывшийся ею от солнца, чтобы получше разглядеть свои самолеты, свалился, убитый наповал. Рядом ранило красноармейца, и он, сидя на земле, все время сгибался и разгибался, держась за живот. Но еще и теперь людям казалось, что это случайность, ошибка, и лишь когда в третий раз те же самолеты прошли над самыми верхушками деревьев, по ним открыли огонь. Самолеты шли так низко, что один из них удалось сбить из пулемета. Ломаясь о деревья и разваливаясь на куски, он упал всего в ста метрах от Синцова. В обломках кабины застрял труп летчика в немецкой форме. И хотя в первые минуты весь лес торжествовал: «Наконец сбили!» — но потом всех ужаснула мысль, что немцы уже успели где-то захватить наши самолеты.

Наконец наступила долгожданная темнота. Шофер грузовика по-братски поделился с Синцовым сухарями и вытащил из-под сиденья купленную в Борисове бутылку теплого сладкого сидра. До реки не было и полукилометра, но ни у Синцова, ни у шофера после всего пережитого за день не хватило сил сходить туда. Они выпили сидро, шофер лег в кабине, высунув ноги наружу, а Синцов опустил на землю, приткнул к колесу машины полевую сумку и, положив на нее голову, несмотря на ужас и недоумение, все-таки упрямо подумал: нет, не может быть. То, что он видел здесь, не может происходить всюду!

С этой мыслью он заснул, а проснулся от выстрела над ухом. Какой-то человек, сидя на земле в двух шагах от него, палил в небо из нагана. В лесу рвались бомбы, вдали виднелось зарево; по всему лесу, в темноте, наезжая одна на другую и на деревья, ревели и двигались машины.

Шофер тоже рванулся ехать, но Синцов совершил первый за сутки поступок военного человека — приказал переждать панику. Только через час, когда все стихло — исчезли и машины и люди, — он сел рядом с шофером, и они стали искать дорогу из лесу.

На выезде, у опушки, Синцов заметил темневшую впереди на фоне зарева группу людей и, остановив машину, с винтовкой в руках пошел к ним. Двое военных, стоя на обочине шоссе, разговаривали с задержанным, штатским, требуя документы.

— Нету у меня документов! Нету!

— Почему нету? — настаивал один из военных. — Предъяви нам документы!

— Документы вам? — крикнул задрожавшим, злым голосом человек в штатском. — А зачем вам документы? Что я вам, Гитлер? Все Гитлера ловите! Все равно не поймаете!

Военный, требовавший предъявления документов, взялся за пистолет.

— Ну и стреляй, если совести хватит! — с отчаянным вызовом крикнул штатский.

Едва ли этот человек был диверсантом, скорее всего он был просто какой-нибудь мобилизованный, доведенный до горькой злобы поисками своего призывного пункта. Но того, что он крикнул про Гитлера, нельзя было кричать людям, тоже доведенным до бешенства своими мытарствами...

Но все это Синцов подумал потом, а тогда он ничего не успел подумать: над их головами зажглась ослепительно-белая ракета. Синцов упал и, уже лежа, услышал грохот бомбы. Когда он, переждав минуту, поднялся, то увидел в двадцати

шагах от себя только три изуродованных тела; словно приказывая ему навсегда запомнить это зрелище, ракета погорела еще несколько секунд и, коротко чиркнув по небу, бесследно упала куда-то.

Вернувшись к машине, Синцов увидел торчавшие из-под нее ноги шофера, залезшего головой под мотор. Они оба снова сели в кабину и сделали еще несколько километров к востоку, сначала по шоссе, потом по лесной дороге. Остановив двух встретившихся командиров, Синцов узнал, что ночью был приказ отойти из того леса, где они стояли вчера, на семь километров назад, на новый рубеж.

Чтобы шедшая без фар машина не врезалась в деревья, Синцов вылез из кабины и пошел впереди. Если б его спросили, зачем ему нужна эта машина и почему он с ней возится, он бы не ответил ничего вразумительного, просто так уж вышло: потерявший свою часть шофер не хотел отстать от политрука, а не доехавший до своей части Синцов был тоже рад, что с ним благодаря этой машине все время связана хоть одна живая душа.

Только на рассвете, поставив машину в другом лесу, где почти под каждым деревом стояли грузовики, а люди рыли щели и окопы, Синцов наконец добрался до начальства. Было серое, прохладное утро. Перед Синцовым на лесной тропинке стоял сравнительно молодой человек с трехдневной щетиной, в надвинутой на глаза пилотке, в гимнастерке с ромбами на петлицах, в красноармейской шинели, накинутой на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Синцову сказали, что, кажется, это и есть начальник Борисовского гарнизона.

Синцов подошел к нему и, обратясь по всей форме, попросил товарища бригадного комиссара сказать, не может ли он, политрук Синцов, быть использован по своей должности армейского газетчика, а если нет, то какие будут приказания. Бригадный комиссар посмотрел отсутствующими глазами сна-

чала на его документы, потом на него самого и сказал с равнодушной тоской:

— Разве вы не видите, что делается? Про какую газету вы говорите? Какая может быть теперь здесь газета?

Он сказал это так, что Синцов почувствовал себя виноватым.

— Вам надо в штаб, а верней — в Политуправление фронта, там вам скажут, куда являться, — помолчав, сказал бригадный комиссар.

— А где штаб и Политуправление? — с надеждой спросил Синцов.

Но бригадный комиссар только пожал плечами и заговорил с другими людьми.

Синцов отошел и, не успев подумать, что же делать дальше, наткнулся на знакомого полковника-танкиста.

— Я вас искал! Где вы болтались? — строго прикрикнул полковник. — Вон, видите там? — показал он на группу людей, сидевших на двух сваленных соснах. — Мы временную тройку создали. Вы в газете секретарем были, поможете им протоколы вести!

На сваленных соснах сидели черноволосый военюрист второго ранга, белобрысый политрук с авиационными петлицами, майор войск НКВД с малиновыми петлицами и четверо бывших у них под началом красноармейцев. Все семеро отдыхали; у ног их валялись лопаты, а рядом зияли две наполовину отрытые противовоздушные щели. Синцов представился.

— Блокнот есть? — спросил военюрист.

— Есть.

— Ладно, — сказал военюрист, — сейчас дороем щели, а потом работать начнем.

Щели дорыли через час. Синцов сел на землю и спустил ноги в щель. От усталости и голода его клонило ко сну, и он сам не заметил, как задремал.

Сначала ему приснился сад, по которому шла Маша в военной форме, с петлицами военюриста, потом приснилась квартира на Усачевке; в нее вошел человек с лицом Гитлера и голосом того вчерашнего, убитого бомбой штатского, попросил, нет ли чего поесть. Синцов стал шарить на боку наган, чтобы застрелить его, но нагана на боку не было...

Он проснулся оттого, что кто-то столкнул его в щель и сам упал сверху. Щели были вырыты вовремя: высоко над соснами шли самолеты и сыпали на лес бомбы.

Весь этот день Синцов прожил как в тумане — от усталости, от голода, оттого, что почти не спал третьи сутки. Он то лез в щель, пережидая бомбежку и иногда засыпая при этом, то вылезал и грелся на солнце, свесив ноги в щель и тоже засыпая, то, когда приводили задержанных и военюрист, старший политрук и майор допрашивали их, писал протокол, положив блокнот на колено и с трудом выводя буквы.

— Да вы короче, короче, только главное! — всякий раз говорил военюрист.

А главным было то, что почти все задержанные не были ни диверсантами, ни шпионами, ни дезертирами, они просто шли откуда-то куда-то, искали кого-то или что-то и не находили, потому что все перемешалось и сдвинулось со своих мест. Попадая под обстрелы и бомбежки и наслушавшись страхов о немецких десантах и танках, некоторые из них, боясь плена, закапывали, а иногда и рвали документы.

Допросив, их обычно отпускали, одним сказав, куда примерно надо идти, а другим ничего не сказав, потому что не знали этого сами. Многие из отпущенных не хотели уходить, они боялись, что их где-нибудь снова задержат и заподозрят в дезертирстве.

Двух особенно подозрительных, задержанных в форме, но без всяких документов, так и не добившись от них внушающих доверия ответов — кто они, куда и откуда идут, — сочли диверсантами и приговорили к расстрелу. Конвоиры, ходившие

их расстреливать на опушку, потом рассказывали, что один из них плакал, просил подождать, уверял, что все объяснит, а второй сначала тоже говорил, чтоб подождали, а в последнюю минуту, уже под дулом, прокричал: «Хайль Гитлер!»

Среди задержанных за день оказался сумасшедший, очень высокий молодой красноармеец, с руками и ногами богатыря и с маленькой, детской стриженной головой на длинной детской шее. Не выдержав бомбежки, он вообразил, что попал в плен к переодетым в красноармейскую форму фашистам, и, выбежав на дорогу, размахивая руками, стал кричать проносившимся над головой немецким самолетам:

— Бейте, бейте!

В его обезумевшем мозгу все перевернулось: окружающие казались немцами, а немецкие самолеты — нашими. Его с трудом скрутили.

Он стоял бледный, дрожащий и, попеременно впиваясь глазами то в военюриста, то в Синцова, кричал им:

— Зачем вы переоделись, фашисты? Все равно я вас вижу! Зачем переоделись?!

Все попытки успокоить его и объяснить, что он находится среди своих, ни к чему не привели: чем больше его уговаривали, тем сильнее в его глазах разгорался огонек безумия.

Вдруг, быстро оглянувшись, он вырвался, метнулся в сторону, схватил прислоненную к дереву винтовку Синцова и в три огромных прыжка выскочил на дорогу.

— Бегите! — закричал он тонким, взвизгивающим, сумасшедшим голосом, закричал так, что все кругом услышали этот нечеловеческий вопль. — Спасайтесь! Фашисты нас окружили! Спасайтесь! — То нагибаясь, то выпрямляясь, он подпрыгивал на дороге, потрясая винтовкой.

Кто-то, увидев этого плясавшего на дороге и панически кричавшего человека, недолго думая, несколько раз подряд выстрелил в него из нагана, но не попал. Потом выстрелил кто-то еще и тоже не попал.

Синцов понял, что сейчас этого человека непременно убьют, не могут не убить, раз он кричит такие страшные, панические слова. Решив спасти его и не думая в эту минуту ни о чем другом, Синцов бросился к красноармейцу. Но тот, заметив подбегавшего Синцова, повернулся, перехватил винтовку и метнулся навстречу. Синцов увидел совсем близко его вылезшие из орбит, ненавидящие, безумные глаза, отпрыгнул в сторону так, что удар штыком пришелся по воздуху, и схватился обеими руками: правой — за ложе винтовки, а левой — за ствол. Теперь никто не стрелял, боясь попасть в Синцова, а он и сошедший с ума красноармеец несколько секунд яростно выкручивали друг у друга винтовку. В этой борьбе Синцов постепенно перехватил винтовку обеими руками за ложе, а красноармеец теперь держался за ствол. Синцов, собрав все силы, рванул винтовку к себе и не сразу понял, что произошло: отпустив руки, красноармеец взмахнул ими в воздухе, словно хотел схватиться за голову, и, не донся рук до лица, ничком свалился на дорогу.

И только когда он упал, Синцов понял, что выстрел, который он слышал за секунду до этого, был не чьим-то чужим, а его собственным. Рванув винтовку, он задел спусковой крючок, и теперь у его ног на дороге лежал убитый им человек.

Что именно убитый, а не раненый, он подумал еще раньше, чем, отбросив винтовку, присел на корточки над упавшим. Красноармеец лежал ничком, неловко и жалко вывернув набок стриженую детскую голову. Кровь стекала у него по шее на пыльную землю: пуля попала прямо в горло, в адамово яблоко.

— Чуть панику не устроил, гад! — сказал, останавливаясь над мертвым, рослый капитан с небритой щетиной. В руках у него был наган — это он стрелял первым. — Паникер, гад! — повторял капитан. — Собаке собачья смерть!

Но, хотя он говорил грубо и уверенно, у него у самого были собачьи, виноватые глаза. А грубостью своих слов он,

кажется, хотел убедить самого себя и окружающих в том, что был прав, стреляя в этого человека.

Синцов был как потерянный. Первое, что он сделал на войне, — убил своего! Хотел спасти — и убил!.. Что могло быть бессмысленней и страшней этого?!

Он так до конца дня и не узнал толком, что происходило кругом. То говорили, что Минск по-прежнему в наших руках, то, наоборот, что Борисов уже взят немцами; ближе к вечеру стали говорить, что где-то в семи километрах отсюда удалось остановить немецкие танки; впереди и правда, не приближаясь и не удаляясь, слышалась густая артиллерийская стрельба... Все эти обрывочные сведения доходили до Синцова словно в тумане — между бомбежками, тяжелыми мыслями о только что совершенном убийстве и новыми вопросами.

Уже на закате к Синцову подошел боец и сказал, что его зовет к себе полковник.

Полковник-танкист, по праву самого энергичного из оказавшихся здесь людей распоряжавшийся всеми другими, стоял на опушке леса, у замаскированной ветками палатки, к которой как раз в эту минуту двое связистов тянули шнур полевого телефона. Рядом с полковником стоял батальонный комиссар в пограничной форме.

— Вы спрашивали про Политуправление фронта, — без предисловий сказал полковник-танкист остановившемуся перед ним Синцову. — Вот он знает, где Политуправление фронта, — показал он на пограничника. — Где-то под Могилевом, он туда едет, может взять вас с собой.

Пограничник молча кивнул.

— Сейчас, я только вещи возьму! Подождете три минуты?

Пограничник снова кивнул и взглянул на часы.

— Я быстро! — Синцов бегом побежал к грузовику взять лежавший там в кузове чемодан.

Но грузовика на прежнем месте не было. С минуту походяв кругом, словно исчезнувший грузовик мог вырасти из



под земли, Синцов вспомнил, что его ждут, и, махнув рукой, побежал обратно.

Пограничник стоял у палатки и нетерпеливо переминался.

— Где же ваши вещи? — спросил он.

— В машине были, куда-то уехала, не знаю... — сказал Синцов. — Поеду так.

Он был рад и тому, что час назад, когда стало вечереть, вынул из машины и накинул на плечи шинель.

— Да, — сказал пограничник и похлопал себя по тощей полевой сумке. — Мои вещи тоже все тут, даже шинели нет, в машине сгорела.

Он мог бы сказать Синцову, что у него пропало все: сгорел дом, где он жил, и погибла семья, — но он сказал только о сгоревшей шинели и добавил:

— Пошли!

Они прошли два километра по лесной дороге, до ее пересечения с Минским шоссе. Синцов все ждал, что они остановятся у одной из спрятанных под деревьями машин и поедут на ней; он пропустил мимо ушей слова батальонного комиссара про сгоревшую в машине шинель. И только когда они вышли на Минское шоссе, по которому от времени до времени проносились грузовики, и пограничник сказал: «Сейчас проголосуем до Орши», — Синцов понял, что у батальонного комиссара нет никакой машины и они будут добираться на попутной.

— Пройдите двести шагов вперед, а я стану здесь, — сказал пограничник. — Если не задержу я, задерживайте вы.

Синцов, отойдя на двести шагов, хорошо видел, как батальонный комиссар несколько раз пробовал останавливать машины. Поднимал руку и сам Синцов, но машины пролетали мимо. Наконец он увидел, как пограничник остановил грузовик и, открыв дверцу кабины, стал говорить с сидевшими внутри.

Синцов сорвался с места — бежать к машине. В эту секунду раздался рев пикирующего самолета. Синцов привычно бросился на землю, успев почувствовать душный запах нагретого асфальта. Когда, пролежав несколько секунд, он повернул голову, на дороге не было ни грузовика, ни стоявшего рядом с ним пограничника. Бомба прямым попаданием ударила в машину, на асфальте дымилась воронка, кругом лежали куски изогнутого железа, а по шоссе навстречу Синцову катилось оторванное колесо. Прокатившись еще несколько шагов, словно оно хотело подъехать к самым его ногам, колесо покачнулось и упало, скрежетнув железом по асфальту.

Синцов стоял один на Минском шоссе, мимо него неслись машины, и на душе у него была такая тоска, что только перешедшая все границы усталость помешала ему закричать или разрыдаться.

Пройдя засветло еще несколько километров, Синцов, как и тысячи других людей, проспал ту ночь в придорожной канаве, положив пилотку под голову и закрыв лицо поднятым воротником шинели. Он проспал несколько часов мертвым сном, не слыша ни рева проносившихся по шоссе машин, ни грохота ночной бомбежки, и проснулся оттого, что кто-то, отогнув воротник шинели, трогал рукою его лицо.

— Нет, этот живой, — сказал голос.

Синцов открыл глаза и сел. Перед ним стояли два мальчика лет по шестнадцати, одетые в чистенькие шинельки артиллерийской спецшколы, со скрещенными золотыми пушечками на черных петлицах. Наверное, так же как и Синцов, они давно ничего не ели: у них были похудевшие детские лица и отчаянные глаза. Оба были похожи на галчат, выброшенных из гнезда прямо на дорогу.

— Что вы, ребята? — спросил Синцов, вставая. — Куда идете?

Мальчики ответили, что они ездили в Смоленск, на подготовку к летнему спортивному параду, а сейчас возвращаются к себе в спецшколу, в Борисов.

— А где это? — спросил Синцов. — В самом Борисове?

Они сказали, что нет, еще дальше, шестнадцать километров в сторону Минска.

— По-моему, там сейчас немцы, — сказал Синцов. — Я там вчера был.

Мальчики недоверчиво посмотрели на него, потом один из них отвел глаза. Синцов проследил за его взглядом и увидел в двухстах метрах, на обочине, несколько неподвижных тел, а посреди дороги воронку, которую как раз сейчас объезжала мчавшаяся на восток машина. Когда он вчера заснул, здесь никто не лежал, — значит, ночью совсем близко упала бомба, кого-то убило, а он даже не проснулся.

— Мы думали, вы тоже убиты, — сказал один из мальчиков. — Куда же нам идти?

— Мы все-таки пойдем к себе в школу, — сказал другой. — Не может быть, чтобы там были немцы.

Синцову так и не удалось переубедить их. Они ему не поверили, но очень обрадовались, когда он, нащупав в кармане шинели банку консервов, которую ему вчера дал военюрист, предложил им поесть перед дорогой. В банке оказались кильки, и они втроем съели эти кильки без хлеба и воды.

Мальчики пошли. Синцов еще долго с тревогой смотрел им вслед.

Потом отряхнул шинель, пилотку и пошел по Минскому шоссе, на восток, к Орше.

Кто только не шел в те дни по этому шоссе, сворачивая в лес, отлеживаясь под бомбежками в придорожных канавах, и снова вставая, и снова меряя его усталыми ногами! Особенно много тянулось еврейских беженцев из Столбцов, Барановичей, Молодечно и других городков и местечек Западной Белоруссии. Сейчас, на восьмой день войны, они

были уже за Борисовом, и, значит, тронулись в путь давно, еще в первые сутки... Тысячи людей ехали на невообразимых фурах, дрожках и подводах, ехали старики с пейсами и бородами, в котелках прошлого века, ехали изможденные, рано постаревшие еврейские женщины, ехали дети — на каждой подводе по шесть-восемь-десять маленьких черномазых ребят с быстрыми испуганными глазами. Но еще больше людей шло рядом с подводами.

Среди оборванных старух, стариков и детей особенно странно выглядели на этой дороге молодые женщины в модных пальто, жалких и пропыленных, с модными, сбившимися набок пыльными прическами. А в руках узлы, узелки, узелочки; пальцы судорожно сжаты и дрожат от усталости и голода.

Все это двигалось на восток, а с востока навстречу по обочинам шоссе шли молодые парни в гражданском, с фанерными сундучками, с дерматиновыми чемоданчиками, с заплечными мешками, — шли мобилизованные, спешили добраться до своих заранее назначенных призывных пунктов, не желая, чтоб их сочли дезертирами, шли на смерть, навстречу немцам. Их вели вперед вера и долг; они не знали, где на самом деле немцы, и не верили, что немцы могут оказаться рядом раньше, чем они успеют надеть обмундирование и взять в руки оружие... Это была одна из самых мрачных трагедий тех дней — трагедия людей, которые умирали под бомбежками на дорогах и попадали в плен, не добравшись до своих призывных пунктов.

А по сторонам тянулись мирные леса и рощицы. Синцову в тот день врезалась в память одна простая картина. Под вечер он увидел небольшую деревушку. Она раскинулась на низком холме; темно-зеленые сады были облиты красным светом заката, над крышами изб курились дымки, а по гребню холма, на фоне заката, мальчишки гнали в ночное лошадей. Деревенское кладбище подступало совсем близко к шоссе. Деревня

была маленькая, а кладбище большое — целый холм был в крестах, обломанных, покосившихся, старых, вымытых дождями и снегами. И эта маленькая деревня, и это большое кладбище, и несоответствие между тем и другим — все, вместе взятое, потрясло душу Синцова. Острое и болезненное чувство родной земли, которая где-то там, позади, уже истоптана немецкими сапогами и которая завтра может быть потеряна и здесь, переворачивало сердце. То, что видел Синцов за последние два дня, говорило ему: да, немцы могут прийти и сюда, — и, однако, представить себе эту землю немецкой было невозможно. Такое множество безвестных предков — дедов, прадедов и прапрадедов — легло под этими крестами, один на другом, веками, что эта земля была своей вглубь на тысячу сажен и уже не могла, не имела права стать чужой.

Никогда потом Синцов не испытывал такого изнурительного страха: что же будет дальше?! Если все так началось, то что же произойдет со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил, со страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобедимой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фашисты, на седьмой день войны оказавшиеся между Минском и Борисовом?

Он не был трусом, но, как и миллионы других людей, не был готов к тому, что произошло. Большая часть его жизни, как и жизни этих других людей, прошла в лишениях, испытаниях, борьбе, поэтому, как выяснилось потом, страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить их души. Но в первые дни эта тяжесть многим из них показалась нестерпимой, хотя они же сами потом и вытерпели ее.

Полтора года назад, когда Синцову вместо демобилизации предложили остаться в кадрах, это не обрадовало его, но он согласился: дивизия, в которую он был призван, стояла на Буге, за Бугом были фашисты, в воздухе пахло войной, и он считал, что коммунисты в таких случаях не отказываются служить в армии.

И вот когда случилось то, во имя чего он остался служить в армии, когда началась война с фашизмом, он вдруг с самого начала оказался не в своей части, не на своем месте, каким-то перекасти-поле, человеком, бессмысленно сующим свои документы, ищущим свою неизвестно где находящуюся редакцию, а теперь в поисках ее даже, как дезертир, бредущим вспять от фронта.

Он и после смерти пограничника все равно твердо решил добираться до Могилева, раз сказано, что там Политуправление фронта. Но если это вранье, он так же твердо решил больше ничего не искать и проситься политруком в первую же стрелковую часть, какую встретит.

С утра он, как и вчера вечером, много раз поднимал руку, но опять ни одна машина так и не остановилась. И он, плюнув и уже не оглядываясь на машины, весь остальной день упрямо шел по шоссе, то отдаваясь своим тяжелым мыслям, то ни о чем не думая, только устало передвигая свинцовые ноги.

Наверное, в конце концов он так и дошел бы пешком до самой Орши, если бы уже вечером возле него не остановился грузовик.

— Куда идете, политрук? — спросил сидевший в кабине полковник.

— В Оршу! — угрюмо сказал Синцов.

— Почему пешком идете?

— Голосовал, да надоело, — все так же угрюмо ответил Синцов. — Не берут, сволочи!

— Да, сволочей хватает, — сказал полковник, — хотя и меньше, чем можно было бы предполагать в такой обстановке. Дайте-ка ваши документы!

Синцов равнодушно протянул полковнику документы. Полковник быстро взглянул на них и отдал обратно.

— Садитесь в кузов.

Через час бешеной езды они оказались в Орше. Машина у полковника была чужая, взятая под честное слово только

до Орши. Он так же, как и Синцов, добирался в Могилев и от Орши рассчитывал доехать до Могилева поездом. Синцов зашел вместе с полковником к коменданту города. Комендатура помещалась в подвале школы. За столами у телефонов сидели обалдевшие от крика майор — комендант города — и еще два майора-железнодорожника.

— Будет ли поезд на Могилев? — спросил полковник.

Комендант, которого он спрашивал, в этот момент, бросив трубку одного телефона, кинулся к другому, но полковник крепкой рукой схватил его за плечо и насильно повернул лицом к себе.

— Отвечайте, я вас спрашиваю: будет ли поезд на Могилев и когда?

— Сейчас, товарищ полковник! — охрипшим голосом сказал майор. — Должен быть... — И кинулся к телефону, по которому его вызывали. Чем дольше он слушал, тем все более ожесточенным делалось его лицо. Наконец он мрачно выругался и швырнул трубку. — Не будет поезда, товарищ полковник! Вот, пожалуйста, извольте радоваться, только что сообщили: разбомбили поезд с боеприпасами. Оба пути разрушены. Не будет никакого поезда на Могилев!

— Ладно, черт с ним, — спокойно сказал полковник Синцову. — Эти все равно сами ничего не знают, все у них только и делает, что летит и рвется, а проехать, наверное, преспокойно можно. Пошли на станцию, там добьемся толку.

Но и на станции толку добиться было не так-то просто: свет не горел, военный комендант и начальник станции говорили таинственным шепотом, что им пока ничего не известно. Наконец полковник поймал какого-то железнодорожника, который тоже шепотом, как о большой тайне, сказал, что на путях за водокачкой формируется товарный состав на Могилев.

— Пошли! — сказал полковник.

Как видно, не только Синцову, но и этому пожилому, опытному, выдавшему виды человеку было одиноко и хоте-

лось человеческого сочувствия. Он рассказал Синцову, что прилетел в Москву из Приволжского военного округа, назначен начальником штаба корпуса, проскочил в поисках своего корпуса до Борисова, чуть не попал в плен к немцам, вчера целый день прокомандовал в бою оставшейся без командира ротой, а сегодня узнал, что его корпус вовсе не здесь, а вышел в район Осиповичи — Бобруйск, поэтому он и едет туда через Могилев.

— Конечно, можно было и дальше ротой командовать, — сказал он сердито, — но порядок должен же быть все-таки! Слава богу, восьмой день воюем, пора в чувство приходиться! Раз я назначен начальником штаба корпуса, значит, я должен прибыть к месту службы, а не просто с винтовкой в цепи лежать. Один болван, когда я передал команду над ротой лейтенанту, еще позволил себе в трусости меня упрекнуть.

— И что же вы? — спросил Синцов.

— Что я? Съездил ему за этого труса по морде, чтоб впредь умней был, и уехал.

Полковник даже побагровел при этом воспоминании, и его без того насупленное усатое лицо стало совсем свирепым.

Они долго бродили среди путей в поисках состава и, как это почти всегда бывает, когда находится уверенный в своих силах и знающий, чего он хочет, человек, постепенно обросли еще десятком людей, по разным причинам желавших добраться до Могилева.

Пока они искали состав, немецкие бомбардировщики налетели на станцию. На забитых станционных путях один за другим заревели паровозы.

На Оршанском узле их стояло несколько десятков. Они ревели, вторя друг другу, выпуская тучи белого пара; рев их был испуганный и чудовищно тоскливый. Он был гораздо страшнее, чем грохот бомбежки, к которому Синцов уже привык за эти дни; казалось, паровозы во весь голос жалуются неиз-



вестно кому: небу или людям, — жалуются и просят помочь, а небо все сыплет и сыплет сверху на черную землю бомбы, разрывающиеся среди домов, рельсов и лежащих на путях людей, оглушенных, злых, несчастных, до глубины души обиженных всем происходящим.

После тревоги добрались до водокачки и, не найдя там никакого состава, все присели отдохнуть на кучах ссыпанного у путей шлака. Никому не хотелось говорить, но невозможно было и молчать: слишком много накопилось у каждого на душе.

— Не думали, не гадали, — печально сказал из темноты кто-то, кого Синцов так и не разглядел в лицо этой ночью.

— Если бы не думали, не гадали, еще бы ладно, — после молчания отозвался полковник. — А то ведь и гадали и думали, а на поверку — ералаш!

— Удивительно много беспорядка! — из темноты откликнулся кто-то, тоже невидимый, тонким удивленным тенором. — Просто удивительно.

— А мой саперный батальон в Белостоке стоял! — сказал густой бас. — Куда он теперь отошел...

— Ищи-свищи! — холодно и резко ответил чей-то злой голос.

Несколько минут все молчали.

— Августовскую катастрофу четырнадцатого года в академиях изучали, над Самсоновым смеялись, а сами обо... — грубо срифмовал тот же холодный, желчный голос, который ответил саперу. — В общем, шапками закидаем, на чужой территории, малой кровью... Ура и так далее, — продолжал он.

— На чужой территории еще будем — зарубите это себе на носу, вы, там, в темноте, не вижу, как вас по званию! — сердито отозвался полковник. — Но что верно, то верно: ералаш большой, бо-ольшой... И главное — самим же придется его расхлебывать!

Это вызвало целый хор ответных замечаний. Кто-то заметил, что мы, русские, долго запрягаем, зато потом быстро ездим. Но его слова не встретили сочувствия.

— Не восемьсот двенадцатый, теперь и запрягать надо поворачиваться! А то прозапрягаемся до Смоленска.

Полковник сказал, что эту поговорку немцы выдумали.

Люди спорили друг с другом, но в их голосах одинаково дрожали злость и обида. Они были подавлены не только совершенно очевидным беспорядком, но еще больше тем, что где-то идут бои, дерутся их части, а они до сих пор еще не попали туда и неизвестно, как попадут!

— А меня вчера чуть как диверсанта не расстреляли! — сказал кто-то. — В зубы наган сунули, как лошади. Я Перекоп брал, а они мне, сволочи, мальчишки, в зубы наган суют!

— Эй вы, августовская катастрофа! — словно вдруг что-то вспомнив, позвал полковник человека с не понравившимся ему холодным голосом. — Вы тоже с нами до Могилева? Свою часть ищете?

Но на этот вопрос никто не откликнулся. Тот, кого спрашивали, то ли не хотел отвечать, то ли ушел... Было слышно, как в темноте люди поворачиваются друг к другу.

— Вроде ушел, — наконец раздался густой голос сапера. — Тут, около меня, сидел.

— Конечно, и паникеры попадаются, — после молчания сказал полковник, не то отзываясь на слова сапера, не то отвечая собственным мыслям. — Наган есть кому в зубы сунуть. Только бывает, что не тому суют... Встали! — Он поднялся первым. — Шут их знает, может, у них тут есть еще какая-нибудь водокачка! Пойдем поищем!

Другой водокачки они не нашли, но через час добрались до стрелочника, который, показав на темневшие вдаль, стоявшие без паровоза вагоны, уверенно сказал, что их должны прицепить на Могилев.